## Заводь

Уильям Сомерсет Моэм

Перевод М. Беккер

Когда Чаплин, владелец гостиницы «Метрополь» в Апии, познакомил меня с Лоусоном, я вначале не обратил на него внимания. Мы сидели в холле, пили утренний коктейль, и я с интересом слушал местные сплетни.

Мне нравилось болтать с Чаплиным. По образованию он был горный инженер, и, пожалуй, наилучшим образом характеризовало его именно то, что он поселился в местности, где не представлялось ни малейшего случая применить эту специальность. А между тем все утверждали, что Чаплин — чрезвычайно способный горный инженер. Это был низенький человечек, не толстый, но и не худой; поредевшие на макушке черные волосы начинали седеть, маленькие усики имели неопрятный вид, а физиономия — то ли от солнца, то ли от спиртного — была очень красной. Он был лишь номинальным владельцем гостиницы (несмотря на свое пышное название, она представляла собой просто двухэтажный деревянный дом), а всеми делами заправляла его жена — высокая тощая австралийка лет сорока пяти, особа весьма решительная и суровая. Маленький Чаплин, раздражительный и частенько пьяный, как огня боялся своей супруги, и каждому новому постояльцу скоро становилось известно об их семейных стычках, во время которых жена, чтобы держать мужа в подчинении, топала ногами и пускала в ход кулаки. Однажды, после очередной ночной попойки, она приговорила Чаплина к суточному домашнему аресту, и он, не смея покинуть свою тюрьму, стоял на балконе и жалобно взывал к прохожим.

Чаплин был весьма своеобразной личностью, и я с удовольствием слушал его любопытные воспоминания — не знаю уж, правдивые или выдуманные, — так что приход Лоусона даже несколько меня раздосадовал. Несмотря на ранний час, Лоусон уже успел порядком нагрузиться, и я без особой радости согласился на его настойчивую просьбу выпить еще один коктейль. Я уже знал, что у Чаплина слабая голова. Следующий стакан, который из вежливости придется поставить мне, вызовет у него чрезмерное оживление, и миссис Чаплин начнет бросать на меня грозные взгляды.

К тому же в наружности Лоусона я не нашел ничего привлекательного. Это был маленький худощавый человечек. На длинной испитой физиономии со слабовольным узким подбородком выделялся большой костлявый нос, косматые брови придавали лицу какой-то необычный вид, и только глаза, очень большие и очень черные, были великолепны. Он был весел и оживлен, но веселость эта производила впечатление неискренней, словно, стараясь обмануть окружающих, он надел маску, и я подозревал, что под его напускным оживлением скрывается ничтожная и слабая натура. Он изо всех сил старался прослыть «свойским парнем» и был со всеми запанибрата, но мне он почему-то показался хитрым и скользким. Он говорил много, хриплым голосом, и они с Чаплином наперебой распространялись о каких-то легендарных кутежах, о ночных выпивках в Английском клубе, о поездках на охоту, во время которых поглощалось несметное количество виски, и об увеселительных экспедициях в Сидней — оба невероятно гордились тем, что не могли вспомнить ничего между моментом высадки и моментом отплытия. Настоящие пьяные свиньи. Но и в пьяном виде (а теперь, после четырех коктейлей, ни тот, ни другой не был трезв) вульгарный, грубый Чаплин резко отличался от Лоусона — тот, даже напившись, продолжал вести себя, как подобает джентльмену.

В конце концов он, пошатываясь, поднялся со стула.

— Пойду-ка я домой, — сказал он. — До обеда еще увидимся.

— Мадам здорова? — осведомился Чаплин.

— Вполне.

Он вышел. Этот односложный ответ прозвучал так странно, что я невольно посмотрел ему вслед.

— Славный парень, — безапелляционно заявил Чаплин, когда Лоусон выходил из дверей на залитую солнцем улицу. — Молодчина. Беда только — пьет. — В устах Чаплина последнее замечание прозвучало несколько юмористически. — А когда напьется, лезет в драку.

— И часто он напивается?

— Мертвецки пьян два или три раза в неделю. Это все наш остров виноват, да еще Этель.

— Кто такая Этель?

— Его жена. Дочь старика Бривальда. Он женился на девушке смешанной крови. Увез ее отсюда. Правильно сделал. Но она там не выдержала, и теперь они снова вернулись. Боюсь, он скоро повесится, если прежде не умрет с перепоя. Парень славный, только в пьяном виде буянит. — Чаплин громко рыгнул. — Пойду-ка суну голову под душ. Зря я пил этот последний коктейль. Последний — он непременно доконает.

При мысли об уютной душевой Чаплин неуверенно взглянул на лестницу, потом с неестественно серьезным видом поднялся с места.

— Советую поближе познакомиться с Лоусоном, — сказал он. — Начитанный человек. Вот увидите — когда он будет трезвый, вы даже удивитесь. Он умный. С ним стоит поговорить.

В этих отрывистых фразах Чаплин поведал мне всю историю Лоусона.

Вечером, после поездки вдоль побережья, я вернулся в гостиницу. Лоусон уже был там. Он сидел, развалясь в плетеном кресле, и, когда я появился, посмотрел на меня осоловелыми глазами. Было совершенно ясно, что он весь вечер пил. Он словно оцепенел, на лице застыло угрюмое, злобное выражение. Взгляд его на мгновение остановился на мне, но он не узнал меня. В холле сидело еще трое мужчин — они играли в кости и не обращали на него никакого внимания. Очевидно, все уже давно к нему привыкли. Я подсел к ним и тоже начал играть.

— Чертовски веселая у вас компания, — внезапно произнес Лоусон.

Он слез с кресла, нарочно согнул ноги в коленях и заковылял к двери. Не знаю, чего в этом зрелище было больше — смешного или отталкивающего. Когда он ушел, один из игроков фыркнул.

— Лоусон сегодня здорово нализался, — промолвил он.

— Если бы я так быстро пьянел, — сказал второй, — я б на всю жизнь зарекся пить.

Кто мог подумать, что этот несчастный — по-своему романтическая фигура и что жизнь его способна внушить чувства сострадания и ужаса, которые, по словам прославленного теоретика, необходимы для достижения трагического эффекта?

Я не встречал его дня два или три...

Однажды вечером, когда я сидел на веранде во втором этаже гостиницы, Лоусон вошел и опустился в кресло рядом со мной. Он был совершенно трезв. Он что-то сказал и, когда я довольно равнодушно ответил, добавил со смущенным смешком:

— Я в тот день зверски напился.

Я промолчал. Говорить и в самом деле было нечего. Попыхивая трубкой в тщетной надежде отогнать москитов, я глядел на туземцев, возвращавшихся после работы домой. Они шли широким, размеренным шагом, с большим достоинством, и топот их босых ног звучал мягко и как-то странно. Некоторые выбелили свои темные волосы глиной, и это придавало им необычайно благородный вид. Самоанцы были высоки ростом и хорошо сложены. За ними прошла с песней команда законтрактованных рабочих с Соломоновых островов. Более миниатюрные и стройные, чем самоанцы, они были черны как смоль и красили свои густые черные волосы в красный цвет. Время от времени какой-нибудь европеец проезжал на двуколке мимо гостиницы или заворачивал во двор. Несколько шхун любовались своим отражением в спокойных водах бухты.

— Что еще делать в такой дыре, если не пить? — произнес наконец Лоусон.

— Разве вам не нравится Самоа? — спросил я небрежно, лишь бы что-нибудь сказать.

— Почему же? Здесь очень мило.

Это банальное слово настолько не соответствовало волшебной красоте острова, что я невольно улыбнулся и с улыбкой посмотрел на Лоусона. Меня испугало выражение нестерпимой муки в его прекрасных черных глазах; я бы никогда не подумал, что он способен на такое глубокое трагическое чувство. Но выражение это исчезло, и Лоусон улыбнулся. Улыбка у него была простая и немного наивная. Она так изменила его лицо, что я усомнился, действительно ли он такой неприятный человек, каким показался мне с первого взгляда.

— Когда я приехал сюда, я прямо-таки влюбился в этот остров, — сказал он. — Три года назад я уехал, но потом вернулся. — Помолчав, он нерешительно добавил: — Жене захотелось вернуться. Она, понимаете, здесь родилась.

— Да, я слышал...

Он снова умолк. Спустя некоторое время он спросил, бывал ли я в Ваилиме. Он почему-то старался быть со мною любезным. Он упомянул о Роберте Луисе Стивенсоне, а потом разговор перешел на Лондон.

— Как там «Ковент-Гарден»? Наверно, хорош по-прежнему, — сказал он. — По опере я, пожалуй, соскучился больше всего. Вы слышали «Тристана и Изольду»?

Он задал этот вопрос так, словно ответ и в самом деле имел для него большое значение, а когда я сказал, что, разумеется, слышал, он, видимо, очень обрадовался и стал говорить о Вагнере не как музыкант, а просто как человек, получающий от музыки душевное удовлетворение, причина которого непонятна ему самому.

— По-настоящему, надо было съездить в Байрейт, — сказал он. — К сожалению, у меня никогда не было на это денег. Но, конечно, и в «Ковент-Гардене» неплохо — все эти огни, нарядные женщины, музыка. Я очень люблю первый акт «Валькирии». И еще конец «Тристана». Здорово, правда?

Глаза у него засверкали, и все лицо так осветилось, что он показался мне совсем другим человеком. На бледных худых щеках заиграл румянец, и я забыл, что у него хриплый, неприятный голос. В нам появилось даже какое-то обаяние.

— Черт побери, хотелось бы мне сейчас очутиться в Лондоне. Знаете ресторан «Пэл-Мэл»? Я частенько туда захаживал. А Пикадилли — все магазины ярко освещены, везде толпы народу. Замечательно! Иной раз стоишь там, глядишь, как проезжают автобусы и такси, и кажется, будто им конца нет. А еще я очень люблю Стрэнд. Как это там говорится насчет бога и Черинг-кросса?

Я очень удивился.

— Вы имеете в виду Томпсона? — спросил я и прочел стихи:

Тяжки утраты, лицо заплакано,

Но слезы не вечны, как летние росы,

Светит тебе лестница Иакова

До самого неба от Черинг-кросса.

Он вздохнул.

— Я читал «Небесную гончую». Это неплохо.

— Да, таково общепринятое мнение, — пробормотал я.

— Здесь никто ничего не читает. Они думают, что читать — это позерство.

Лицо его было печально, и я понял, что привело его ко мне. Я казался ему связующим звеном между ним и тем миром, по которому он тосковал, той жизнью, которой ему больше никогда не придется жить. Он смотрел на меня с благоговением и завистью — потому что я совсем недавно был в его любимом Лондоне. Не прошло и пяти минут с начала нашего разговора, как он произнес слова, которые потрясли меня силой своего чувства.

— Осточертело мне здесь, — сказал он. — Просто осточертело.

— Так почему же вам не уехать отсюда? — спросил я.

Он нахмурился.

— У меня слабые легкие. Мне уж теперь не выдержать английской зимы.

В эту минуту на веранде появился еще один посетитель, и Лоусон угрюмо замолчал.

— Пора выпить, — сказал вновь пришедший. — Кто выпьет со мной шотландского виски? Вы как, Лоусон?

Лоусон, казалось, спустился с облаков на землю. Он встал.

— Пойдемте в бар, — сказал он.

Когда он ушел, у меня осталось к нему более теплое чувство, чем можно было ожидать. Он озадачил и заинтересовал меня. А несколько дней спустя я встретил его жену. Я знал, что они женаты лет пять или шесть, и поэтому удивился, что она так молодо выглядит. Когда они поженились, ей, очевидно, было не больше шестнадцати. Она была очаровательна — не темнее испанки, маленькая, прекрасно сложенная, стройная, с крошечными ручками и ножками. И лицо у нее было прелестное. Но больше всего поразило меня ее изящество. Женщины смешанной крови почти всегда отличаются некоторой грубостью и вульгарностью, от изысканной же красоты Этель просто дух захватывало. В ней было нечто настолько утонченное, что казалось странным встретить ее в такой среде, и при виде этой женщины невольно приходили на память прославленные красавицы при дворе Наполеона III. В своем простеньком кисейном платьице и соломенной шляпе она казалась элегантной светской дамой. Когда Лоусон увидел ее в первый раз, она, наверное, была неотразима.

Незадолго перед тем он приехал из Англии, чтобы занять должность управляющего местным отделением одного английского банка и, прибыв на Самоа в начале сухого сезона, снял номер в гостинице. Он очень быстро со всеми перезнакомился. Жизнь на острове легка и приятна. Он наслаждался долгими ленивыми разговорами в холле гостиницы и веселыми вечеринками в Английском клубе, где мужчины играют на бильярде. Ему нравилась Апиа, беспорядочно разбросанная по берегу залива, нравились магазины, бунгало, туземная деревня. С субботы на воскресенье он уезжал верхом в гости к кому-нибудь из плантаторов и проводил одну или две ночи в горах. Прежде Лоусон никогда не знал свободы и досуга, а от солнца он совсем опьянел. Когда он ехал верхом среди густого кустарника, у него слегка кружилась голова от немыслимой красоты природы. Земля здесь была невероятно плодородна. Кое-где сохранились девственные леса: заросли каких-то незнакомых деревьев, великолепный подлесок, лианы — и все это вместе казалось таинственным и печальным.

Но больше всего пленила Лоусона заводь милях в двух от Апии, куда он часто по вечерам ездил купаться. Здесь среди скалистых утесов шаловливо пенилась быстрая речка, мелкая и прозрачная, как стекло. Образовав глубокую заводь, она бежала дальше через запруду из больших камней. Туземцы постоянно приходили сюда купаться или стирать одежду. Кокосовые пальмы, кокетливо обвитые лианами, отражались в зеленой воде. Точно такую же картину можно увидеть в Девонширских холмах, но здесь все отличалось тропической пышностью, сладострастием, благоуханным томлением, от которого замирало сердце. Человек, измученный дневною жарой, с наслаждением погружался в прохладную воду, которая освежала не только тело, но и дух.

В тот час, когда Лоусон приходил купаться, здесь не было ни души, и он подолгу оставался у заводи — то лениво плавал на спине, то грелся в лучах вечернего солнца, наслаждаясь одиночеством и ласковою тишиной. В такие минуты он не сожалел о Лондоне и о том, что осталось позади, ибо жизнь казалась полной и прекрасной.

Именно здесь он в первый раз увидел Этель.

Однажды он задержался допоздна из-за писем, которые нужно было отправить с отходившим на другой день пароходом. В сумерках он приехал верхом к заводи, привязал лошадь и пошел к воде. На берегу сидела девушка. Услышав шаги, она обернулась, беззвучно скользнула в воду и исчезла, словно наяда, испуганная появлением человека. Это удивило и позабавило Лоусона. Он никак не мог понять, куда она скрылась. Он поплыл вниз по течению и вскоре увидел, что она сидит на скале и смотрит на него безразличным взглядом.

— Талофа! — приветствовал он ее по-самоански.

Девушка ответила ему, улыбнулась и снова погрузилась в воду. Плавала она легко, и распущенные волосы широким веером тянулись за нею следом. Потом она пересекла заводь и вылезла на берег. Просторное платье, в котором она, по туземному обычаю, купалась, прилипло к ее стройному телу. Сейчас, когда она спокойно стояла на берегу, выжимая мокрые волосы, она еще больше напоминала какое-то сказочное существо, обитающее в лесу или в воде. Лоусон теперь увидел, что это женщина смешанной крови. Он вышел на берег и заговорил с нею по-английски.

— Поздно вы купаетесь.

Она отбросила назад свои густые вьющиеся волосы, и они рассыпались по плечам.

— Я люблю купаться одна.

— Я тоже.

Она засмеялась с детской непосредственностью туземки, надела через голову сухое платье, сбросила мокрое и переступила через него. Выжав мокрую одежду, она на мгновение остановилась в нерешительности, затем быстро ушла. Внезапно настала ночь.

Лоусон вернулся в гостиницу, описал наружность девушки посетителям, которые играли в кости на выпивку, и быстро выяснил, кто она такая. Отец ее, норвежец по имени Бривальд, часто заходил в гостиницу «Метрополь» пить воду с ромом. Это был маленький старичок, узловатый и скрюченный, как старое дерево. Сорок лет назад он приехал на острова в качестве помощника капитана парусного судна, затем был кузнецом, торговцем, плантатором. Одно время он даже сколотил порядочное состояние, но после урагана девяностых годов у него осталась всего одна небольшая плантация кокосовых пальм. Женат он был четыре раза и все на туземках, которые, как говорил он сам с хриплой усмешкой, народили ему без счету ребятишек. Часть детей умерла, остальные разбрелись по свету, и дома осталась одна только Этель.

— Не девочка, а персик, — сказал Нельсон, судовой приказчик с «Моаны». — Я не раз на нее поглядывал, да все впустую.

— Старик Бривальд не настолько глуп, сынок, — вмешался человек по имени Миллер. — Ему нужен зять, который обеспечит его на старости лет.

Лоусону было неприятно, что о девушке говорят в таком тоне. Чтобы переменить тему, он вставил замечание об отходящем почтовом пароходе. Однако на другой день он снова отправился к заводи. Этель была там, и сказочное очарование заката, таинственное молчание воды, тонкое изящество кокосовых пальм, оттеняя красоту девушки, будили неизведанные чувства в сердце. В этот раз ему почему-то не хотелось разговаривать с нею. Она не обращала на него никакого внимания, даже не смотрела в его сторону. Она плавала в зеленой воде, ныряла, отдыхала на берегу, словно была совсем одна, и у Лоусона появилось странное чувство, словно он стал невидимым. В голове проносились обрывки полузабытых стихов и смутные воспоминания о древней Элладе — в школьные годы он ею не интересовался. Когда девушка переоделась в сухое платье и ушла, на том месте, где она сидела, он нашел алую мальву. Цветок был у нее в волосах, когда она пришла купаться. Перед тем как войти в воду, она его вынула, а потом забыла или не захотела приколоть снова. Лоусон со странным чувством смотрел на алую мальву. Ему захотелось взять ее с собой, но он тут же рассердился на свою сентиментальность, бросил цветок в воду и с болью в сердце следил за тем, как он уплывает вниз по течению.

Лоусон никак не мог понять, что заставляет девушку ходить к этой уединенной заводи, когда там наверняка никого не встретишь. Жители островов очень любят воду. Они обязательно купаются каждый день, часто по два раза, но купаются всегда скопом, целыми семьями, со смехом и шутками. Часто можно увидеть, как большая группа туземок и метисок весело плещется на речных отмелях, а на коже их играют солнечные зайчики и причудливые тени листьев. Казалось, в этой заводи кроется какая-то тайна, которая притягивает к себе Этель.

Спустилась ночь, таинственная и безмолвная. Лоусон тихонько вошел в воду и лениво поплыл в теплую тьму. Казалось, вода еще хранит аромат стройного девичьего тела. Когда он возвращался в город, в небе зажглись звезды, и он чувствовал себя в ладу со всем миром.

Теперь Лоусон каждый вечер ездил к заводи и каждый вечер встречался с Этель. Вскоре ему удалось преодолеть ее робость. Она стала приветливой и веселой. Сидя на высоких скалах над рекою или лежа на каменных уступах, они смотрели, как сумерки таинственным покровом окутывают заводь. Об их встречах скоро стало известно — в Южных морях каждый знает всю подноготную о своем ближнем — и завсегдатаи гостиницы бесцеремонно подшучивали над Лоусоном. Он только улыбался. Их грубые намеки не стоило опровергать. Чувства его были совершенно чисты. Он любил Этель, как поэт может любить луну в небе. Он думал о ней так, словно она была не женщиной, а каким-то неземным существом, таинственным духом заводи.

Однажды, проходя по бару гостиницы, он увидел, что там стоит старик Бривальд, как всегда одетый в поношенный синий комбинезон. Лоусону захотелось поговорить с Бривальдом — ведь это был отец Этель, — и потому он подошел к стойке, заказал виски, обернулся, словно невзначай, и предложил старику выпить. Некоторое время они болтали о местных делах, и Лоусон с неудовольствием заметил, что норвежец внимательно изучает его своими хитрыми голубыми глазками. В Бривальде было что-то неприятное — за внешним подобострастием этого старика, сильно потрепанного в битве с судьбой, все еще угадывалась былая свирепость. Лоусон вспомнил, что Бривальд когда-то служил капитаном на шхуне, промышлявшей работорговлей (в Тихом океане их называют ловцами черных дроздов), и у него была грыжа — последствие раны, полученной в схватке с жителями Соломоновых островов. Раздался звонок на завтрак.

— Ну, мне пора, — сказал Лоусон.

— Вы бы как-нибудь заглянули ко мне, — хриплым голосом произнес Бривальд. — У меня не очень богато, но я буду рад вас видеть. С Этель вы ведь знакомы.

— Зайду с удовольствием.

— Лучше всего в воскресенье вечером.

Ветхое бунгало Бривальда стояло посреди кокосовых пальм плантации, немного в стороне от Ваилимского шоссе. Вокруг дома росли огромные бананы. Лохматые листья придавали им трагическую красоту прелестной женщины, одетой в рубище. Все кругом казалось неряшливым и запущенным. Во дворе бродили тощие черные свиньи с острыми спинами, громко кудахтали куры, роясь в разбросанном повсюду мусоре. На веранде валялось несколько туземцев. Лоусон спросил Бривальда, и старик своим надтреснутым голосом позвал его в гостиную.

— Садитесь, будьте как дома, — сказал он, раскуривая старую вересковую трубку. — Этель еще прихорашивается.

Вошла Этель. Она надела юбку с блузкой и причесалась на европейский лад. В ней уже не было робкой и дикой грации той девушки, что каждый вечер приходила к заводи, но теперь она казалась более обыкновенной и потому более доступной. Она поздоровалась с гостем. Лоусон впервые коснулся ее руки.

— Надеюсь, вы выпьете с нами чаю, — промолвила она.

Лоусон знал, что Этель училась в миссионерской школе, и было забавно и в то же время трогательно смотреть, как ради него она старается вести себя, словно светская дама. Стол уже был накрыт к чаю, и вскоре четвертая жена старого Бривальда принесла чайник. Это была красивая, немолодая уже туземка. Она знала всего несколько слов по-английски и все время улыбалась. Чаепитие проходило необычайно торжественно, было много бутербродов, приторно-сладкого печенья, и разговор велся весьма церемонный. Затем в комнату тихонько вошла маленькая сморщенная старушка.

— Это бабушка моей Этель, — пояснил Бривальд, громко сплюнув на пол.

Старушка неловко присела на краешек стула. Видно было, что она не привыкла к стульям, и ей гораздо удобнее сидеть на полу. Она молча уставилась на Лоусона блестящими глазками. В кухне за бунгало кто-то заиграл на концертино, и несколько голосов затянули гимн. Чувствовалось, что поют они не из благочестия, а просто потому, что им доставляет удовольствие музыка.

Когда Лоусон возвращался в гостиницу, он был счастлив, сам не зная почему. Его умилил сумбурный образ жизни этих людей, и в добродушной улыбке миссис Бривальд, в фантастической судьбе маленького норвежца, в блестящих таинственных глазах старой бабушки ему чудилось что-то странное и пленительное. Их жизнь была гораздо естественнее той, какую он знал, она была ближе к ласковой плодородной земле; в эту минуту его раздражала цивилизация, и от одного лишь общения с этими примитивными существами он чувствовал себя более свободным, чем прежде.

Лоусон представил себе, как он уходит из гостиницы, которая уже начинала действовать ему на нервы, и устраивается в своем собственном маленьком беленьком нарядном бунгало с окнами на море — так, чтобы перед глазами всегда были бесконечно изменчивые краски лагуны. Он полюбил прекрасный остров. Он больше не сожалел о Лондоне и об Англии, он готов был провести остаток дней своих в этом забытом уголке, который земля благословила драгоценнейшими из своих даров — любовью и счастьем. Он твердо решил, что никакие препятствия не помешают ему жениться на Этель.

Препятствий, однако, не оказалось. Он всегда был желанным гостем в доме Бривальда. Старик был любезен, с уст миссис Бривальд не сходила улыбка. По временам он замечал разных туземцев, которые, по-видимому, имели какое-то отношение к семейству, а однажды застал у Бривальда высокого юношу в лава-лава, покрытого с головы до ног татуировкой, с волосами, выбеленными глиной. Ему объяснили, что это племянник миссис Бривальд. Большей частью, однако, туземцы старались не попадаться ему на глаза. Этель была обворожительна. При виде Лоусона в глазах ее появлялось сияние, которое сводило его с ума. Она казалась наивной и очаровательной. Он с восхищением слушал ее рассказы о миссионерской школе, где она училась, и о сестрах-наставницах. Он ходил с нею в кино (новые фильмы показывали два раза в месяц), а потом оставался на танцы. В кино собиралась публика со всех концов острова — ведь на Уполу очень мало развлечений. Здесь можно увидеть все местное общество: белых дам — они всегда держатся особняком; женщин смешанной крови в элегантных американских туалетах; туземцев — темнокожих девушек в широких белых платьях и молодых людей в непривычных для них полотняных брюках и белых туфлях. Все были очень нарядны и веселы. Этель с удовольствием демонстрировала своего поклонника-белого, который не отходил от нее ни на шаг. Вскоре пронесся слух, что он собирается на ней жениться, и все подруги ей завидовали. Найти себе мужа-европейца — большая удача для девушки смешанной крови; даже незаконная связь — и то лучше, чем ничего, хотя никто не знает, к чему она может привести, а Лоусон благодаря своей должности управляющего банком считался одним из самых выгодных женихов на острове. Будь он чуть меньше поглощен Этель, он мог бы заметить, что на него устремлено множество любопытных глаз, что жены европейцев бросают на него косые взгляды, а потом шушукаются и сплетничают.

Однажды, когда мужчины, жившие в гостинице, собрались выпить на сон грядущий, Нельсон вдруг выпалил:

— Послушайте, говорят, Лоусон собирается жениться на этой девчонке.

— Ну и дурак, — сказал Миллер.

Миллер, американец немецкого происхождения (его настоящая фамилия была Мюллер), был высокий лысый толстяк с круглой чисто выбритой физиономией. Большие очки в золотой оправе придавали ему добродушный вид, а белый полотняный костюм всегда сверкал безукоризненной чистотой. Неизменно готовый просидеть с «ребятами» всю ночь напролет, много пил, но никогда не пьянел; он был обходителен и весел, но себе на уме. Ничто не могло отвлечь его от дела; он представлял сан-францисскую оптовую фирму по сбыту ситца, станков и прочих товаров на островах, и компанейская жилка тоже была чисто профессиональным приемом.

— Он не знает, чем это пахнет, — сказал Нельсон. — Надо, чтобы кто-нибудь его просветил.

— Послушайте моего совета: не суйтесь не в свое дело, — сказал Миллер. — Если человек решил разыгрывать из себя идиота, пускай себе разыгрывает на здоровье.

— Я с удовольствием провожу время с местными девушками, но жениться — нет уж, благодарю покорно.

Чаплин присутствовал при этом разговоре, и теперь слово было за ним.

— Многие так поступали, но до добра это их не довело.

— Поговорить бы вам с ним, Чаплин, — сказал Нельсон. — Вы ведь лучше всех его знаете.

— Мой вам совет, Чаплин: оставьте его в покое, — сказал Миллер.

Лоусон и тогда уже не пользовался симпатией, и никому не было до него дела. Миссис Чаплин поговорила на эту тему с некоторыми дамами, но они только выразили свое сожаление, а когда он объявил, что намерен жениться, было уже слишком поздно что-либо предпринимать.

Целый год Лоусон был счастлив. Он купил бунгало на окраине туземной деревни, на самом конце мыса, замыкающего лагуну, вдоль которой построена Апиа. Бунгало уютно примостилось меж кокосовых пальм. Окна его глядели на знойную синь Тихого океана. Прелестная, гибкая, грациозная, словно лесной зверек, Этель весело расхаживала по домику. Они много смеялись и болтали всякую чепуху. Вечерами их навещали постояльцы отеля, по воскресеньям они часто ездили к какому-нибудь плантатору, женатому на туземке; время от времени ходили на вечеринки, которые устраивал кто-нибудь из метисов — владельцев оптовых складов в Апии. Люди смешанной крови теперь относились к Лоусону совсем не так, как прежде. Благодаря своей женитьбе он стал одним из них, и они называли его Берти. Они брали его под руку и похлопывали по спине. На этих вечеринках Лоусон любовался Этель. Она смеялась, глаза ее блестели. Он радовался, глядя, как она сияет от счастья. Иногда в бунгало приходили родственники Этель: старик Бривальд с женой, а также двоюродные сестры и братья — какие-то туземки в широких балахонах, мужчины и мальчики в лава-лава; волосы у них были выкрашены в красный цвет, а тела покрыты искусной татуировкой. Возвращаясь домой из банка, Лоусон находил их во всех комнатах и добродушно смеялся.

— Смотри, как бы они не пустили нас по миру, — говорил он.

— Это мои родные. Я не могу отказать им, если они чего-нибудь просят.

Лоусон знал, что если европеец женится на туземке или девушке смешанной крови, то ее родственники непременно будут считать, что напали на золотую жилу. Он брал лицо Этель и целовал ее розовые губы. Ей, конечно, невдомек, что его жалованье, которого с избытком хватало на жизнь холостяку, следует экономить, если на него приходится содержать жену и дом.

Вскоре Этель родила сына. Когда Лоусон в первый раз взял новорожденного на руки, у него вдруг защемило сердце. Он не ожидал, что ребенок будет таким темнокожим. Ведь в нем всего лишь четвертая часть туземной крови, так почему бы ему в самом деле не быть таким же, как всякий английский младенец. Но нет — желтый младенец, свернувшийся калачиком в его руках, с головой, уже покрытой черными волосами, с огромными черными глазами, легко мог сойти за туземца.

Белые дамы стали игнорировать Лоусона с первого дня его женитьбы. Когда он встречался с мужчинами, у которых он холостяком привык обедать, им было явно не по себе, и они пытались преувеличенной любезностью скрыть свое смущение.

— Как поживает миссис Лоусон? — спрашивали они. — Вам повезло. Чертовски красивая женщина.

Но если они шли со своими женами и встречали его вместе с Этель, им было очень неловко, когда их жены снисходительно ей кивали. Лоусон только смеялся.

— Все они смертельно скучны, — говорил он. — Плевал я на то, что они не приглашают меня на свои паршивые вечеринки.

Но со временем это начало его раздражать.

Темнокожий младенец сморщил личико. Это его сын. Он подумал о детях смешанной крови в Апии. У них были нездоровые, изжелта-бледные лица, и их преждевременное развитие неприятно бросалось в глаза. Он видел, как их отправляли на пароходе в школу на Новую Зеландию — надо было еще найти школу, куда принимают детей, в чьих жилах течет туземная кровь. Дерзкие и в то же время робкие, чем-то неуловимо отличающиеся от белых, они сидели, тесно сбившись в кучку. Между собой они разговаривали на местном наречии. Когда эти мальчики становились взрослыми, они получали меньшее жалованье из-за своей туземной крови; девушка могла еще выйти замуж за белого, но для юноши не оставалось никакого выхода — он вынужден был жениться на метиске или на туземке. Лоусон твердо решил избавить своего сына от подобных унижений. Нужно во что бы то ни стало вернуться в Европу. Он зашел взглянуть на Этель — хрупкая и прелестная, она лежала в постели, окруженная туземками, — и окончательно утвердился в своем решении. Если он увезет ее к себе на родину, она будет принадлежать ему безраздельно. Он любил ее так страстно, он так хотел, чтобы она слилась с ним душою и телом, а между тем он понимал, что она глубоко вросла корнями в туземную жизнь, и потому здесь в ней всегда будет нечто скрытое, непостижимое для него.

Не говоря никому ни слова (ему почему-то хотелось сохранить все это в тайне), он написал своему родственнику, совладельцу торговой фирмы в Абердине, что здоровье его (из-за которого он, подобно многим другим, уехал на острова) стало гораздо лучше, и потому ничто не мешает ему вернуться в Европу. Он просил родственника употребить все свое влияние, чтобы достать ему место, хотя бы и низкооплачиваемое, в долине реки Ди, где климат особенно хорош для легочных больных. Письма из Абердина на Самоа идут недель пять или шесть, а переписываться пришлось долго. У Лоусона было достаточно времени, чтобы подготовить Этель. Она радовалась, как ребенок. Забавно было смотреть, как она хвасталась перед друзьями, что едет в Англию, — для нее это была ступенька вверх, она там станет настоящей англичанкой; приближающийся отъезд чрезвычайно ее волновал. Наконец Лоусон получил телеграмму с предложением занять должность в Кинкэрдинширском банке, и Этель просто себя не помнила от восторга.

Когда длинное путешествие осталось позади и они поселились в Шотландии, в маленьком гранитном городке, Лоусон понял, как много значит для него снова очутиться среди соотечественников. Три года, проведенные в Апии, вспоминались ему как изгнание, и он со вздохом облегчения возвращался к нормальной человеческой жизни. Приятно снова играть в гольф и ловить рыбу — ловить по-настоящему, а не то что в Тихом океане, где стоит только забросить удочку, как сразу начинаешь вытаскивать из битком набитого рыбой моря одну медлительную жирную рыбину за другой. Приятно ежедневно читать газету со свежими новостями, встречаться с мужчинами и женщинами своего круга — с людьми, с которыми можно поговорить; приятно есть свежее, не мороженое мясо и пить свежее, не консервированное молоко. Лоусоны жили гораздо уединеннее, чем в Апии, и он был счастлив, что Этель принадлежит только ему одному. После двух лет женитьбы он любил ее еще беззаветнее, чем прежде, не мог провести без нее минуты и стремился к все более тесной близости. Но — странное дело — после радостного волнения, связанного с переездом, Этель как будто гораздо меньше интересовалась новой жизнью, чем он ожидал. Она никак не могла привыкнуть к чуждой ей обстановке, казалась вялой и апатичной. Когда пышная осень сменилась мрачной зимой, Этель стала жаловаться на холод. Полдня она проводила в постели, потом лежала на диване, иногда читала романы, но большей частью ничего не делала. Вид у нее был подавленный и несчастный.

— Не огорчайся, детка, — говорил он. — Ты скоро привыкнешь. Подожди, пока наступит лето. Здесь бывает почти так же жарко, как в Апии.

Сам он уже много лет не чувствовал себя таким здоровым и крепким.

Небрежность, с какой Этель вела хозяйство, не имела значение на Самоа, но здесь была совершенно неуместной. Лоусону не хотелось, чтобы гости замечали беспорядок в доме, и он со смехом и с мягкими упреками по адресу Этель сам принимался за уборку. Этель лениво следила за ним. Она часами играла с сыном, болтая с ним на своем родном языке. Чтобы развлечь ее, Лоусон старался подружиться с соседями, и они часто бывали на вечеринках, где дамы пели романсы, а добродушные мужчины молча радовались, глядя на них. Этель робела и всегда сидела в стороне. Иногда, охваченный внезапным беспокойством, Лоусон спрашивал, счастлива ли она.

— Да, я совершенно счастлива, — отвечала Этель. Но взор ее омрачала какая-то мысль, которой он не мог разгадать. Она настолько ушла в себя, что ему казалось, будто он знает о ней не больше, чем в тот день, когда впервые увидел, как она купается в заводи. У него все время было неприятное чувство, как будто она что-то от него скрывает, и это чувство мучило его, потому что он ее боготворил.

— Ты не скучаешь по Апии? — спросил он ее однажды.

— Нет, что ты. По-моему, здесь очень хорошо.

Какое-то смутное предчувствие беды заставило его пренебрежительно отозваться об острове и его обитателях. Этель улыбнулась и ничего не ответила. Изредка она получала пачку писем с Самоа и тогда целый день ходила бледная, с застывшим лицом.

— Ничто не заставит меня вернуться туда, — сказал он как-то. — Там не место для белого человека.

Однако вскоре он стал замечать, что в его отсутствие Этель часто плачет. В Апии она была словоохотлива, много болтала о домашних делах, любила посплетничать, но теперь постепенно сделалась молчаливой и, несмотря на его старания развеселить ее, оставалась безучастной ко всему. Ему казалось, что воспоминания о прежней жизни отдаляют от него жену, и он безумно ревновал ее к острову, к морю, к Бривальду и ко всем темнокожим людям, о которых он теперь вспоминал с ужасом. Когда она говорила о Самоа, он отвечал с горечью и издевкой. Однажды — это было поздней весною, когда распускались листья на березах, — вернувшись домой вечером после партии в гольф, он увидел, что Этель не лежит по своему обыкновению на диване, а стоит у окна. По-видимому, она ожидала его возвращения. Не успел он войти в комнату, как она, к его удивлению, заговорила на самоанском языке.

— Я этого не выдержу. Я не могу здесь больше жить. Я ненавижу все это. Ненавижу.

— Да говори же ты по-человечески, бога ради, — раздраженно бросил он.

Она подошла к нему и неловко, каким-то варварским жестом обняла его обеими руками.

— Уедем отсюда. Вернемся на Самоа. Если я останусь здесь, я умру. Я хочу домой.

В отчаянии она разразилась слезами. Гнев его сразу прошел. Усадив Этель к себе на колени, он объяснил ей, что не может бросить службу — ведь иначе им не прожить. Его место в Апии давно уже занято. Ему там нечего делать. Он пытался внушить ей, какие неудобства и унижения ожидают их на острове, какая горькая участь уготована их сыну.

— В Шотландии можно получить прекрасное образование. Здесь хорошие недорогие школы, а потом он сможет поступить в Абердинский университет. Я сделаю из него настоящего шотландца.

Они назвали сына Эндрю. Лоусон хотел, чтобы он стал врачом. Он женится на белой женщине.

— Я не стыжусь того, что в моих жилах половина туземной крови, — угрюмо проворчала Этель.

— Конечно, нет, детка. Тут нечего стыдиться.

Когда она прижималась своей мягкой щекой к его щеке, вся его твердость мгновенно улетучивалась.

— Ты не знаешь, как я люблю тебя. Я бы все на свете отдал, лишь бы ты поняла, что у меня на сердце, — говорил он и искал ее губы.

Наступило лето. Зеленая горная долина благоухала, холмы покрылись ярким ковром цветущего вереска. Один солнечный день сменялся другим, и прохладная тень берез манила путника, утомленного знойным блеском дороги. Этель больше не вспоминала Самоа, и Лоусон перестал нервничать. Он решил, что она примирилась с новой жизнью, и ему казалось, что его страстная любовь не оставляет в ее сердце места для тоски. Но однажды его окликнул на улице местный врач.

— Послушайте, Лоусон, зачем вы позволяете своей жене купаться в наших горных речках? Тут вам не Тихий океан.

Лоусон очень удивился и не сумел этого скрыть.

— Я не знал, что она купается.

Врач засмеялся.

— Ее видело множество народа. Об этом болтают все, ведь этот затон близ моста — довольно-таки неподходящее место для купанья, и к тому же купаться там запрещено. Но не в этом дело. Я не понимаю, как она может купаться в такой холодной воде.

Лоусон знал затон, о котором говорил доктор, и ему вдруг пришло в голову, что он чем-то напоминает заводь на Уполу, где Этель любила купаться по вечерам. Извилистая прозрачная речка, весело журча, бежала между скал, образуя чуть повыше моста спокойный глубокий заливчик с небольшим песчаным пляжем. Затон осеняли большие деревья, только это были не кокосовые пальмы, а буки, и лучи солнца, пробиваясь сквозь густую листву, искрились на водной глади. Лоусон содрогнулся. Он представил себе, как Этель каждый день приходит к затону, раздевается на берегу, погружается в воду — гораздо более холодную, чем вода в родной заводи, — и ее на мгновение охватывают воспоминания о прошлом. Он снова увидел в ней сказочного духа реки, и он никак не мог понять, почему проточная вода с такой силой влечет ее к себе. В тот же вечер он отправился на реку. Он осторожно пробирался меж деревьев, и поросшая травою тропинка заглушала его шаги. Вскоре перед ним открылся затон. Этель сидела на берегу и глядела на воду. Она сидела очень тихо. Казалось, река неотвратимо притягивает ее к себе. Наконец она встала и на мгновение скрылась из виду. Потом он увидел ее снова. В свободном широком платье, легко ступая по мху босыми ногами, она подошла к реке, бесшумно скользнула в воду и медленно поплыла. Казалось, это плывет не женщина, а какая-то сказочная фея. Он не мог понять, почему это зрелище так бередит ему душу. Он подождал, пока она выбралась на берег. Мокрое платье плотно облегало ее тело. Постояв так с минуту, она медленно провела руками по груди, вздохнула легко и радостно и скрылась из виду. Лоусон повернулся и пошел обратно в поселок. Острая боль пронзила ему сердце — он понял, что Этель по-прежнему для него чужая и что его ненасытная страсть навсегда останется неудовлетворенной.

Он ни словом не обмолвился о том, что видел. Он вел себя так, будто ничего не случилось, но с любопытством поглядывал на жену, стараясь понять, что у нее на уме. Он стал относиться к ней еще нежнее, словно надеялся своей страстной любовью заглушить глубокую тоску в ее сердце.

И вот однажды, вернувшись домой со службы, он, к своему удивлению, не застал ее дома.

— Где миссис Лоусон? — спросил он служанку.

— Она уехала с мальчиком в Абердин, сэр, — отвечала служанка, слегка озадаченная вопросом. — Велела передать, что вернется с последним поездом.

— Ну что ж, прекрасно.

Ему было досадно, что Этель не предупредила его о поездке, но он не беспокоился — она в последнее время часто ездила в Абердин. Он даже обрадовался, что она походит по магазинам и, быть может, успеет побывать в кино... Он отправился встречать последний поезд, но она не приехала, и тут он вдруг испугался. Войдя в спальню, он сразу увидел, что на туалете ничего нет. Он открыл платяной шкаф, выдвинул ящики комода. Они были наполовину пусты. Этель сбежала.

Лоусон пришел в ярость. Было уже поздно звонить в Абердин и наводить справки, но он и так понял, что произошло. С дьявольской хитростью Этель выбрала время, когда в банке готовили годовой отчет и он не мог за нею погнаться. Служба связывала его по рукам и ногам. В газете он прочел, что на следующее утро уходит пароход в Австралию. Сейчас она уже едет в Лондон. Из его горла вырвались рыдания.

— Я сделал для нее все на свете, — кричал он, — а у нее хватило совести так поступить со мною! Как это жестоко, как невероятно жестоко!

В ужасной тоске прошло два дня. Наконец он получил письмо, написанное ее ученическим почерком. Писание всегда давалось ей с трудом.

«Милый Берти.

Я не могла больше выдержать.

Я возвращаюсь домой.

Прощай,

Этель».

Ни слова сожаления. Она даже не звала его с собою. Лоусон был убит горем. Он узнал, где будет первая остановка парохода и, хотя отлично понимал, что она не приедет, отправил телеграмму, умоляя ее вернуться. В страшном волнении он ждал, что она пришлет ему хотя бы слово привета, но она даже не ответила. Один приступ отчаяния сменялся другим. Он то радовался, что наконец от нее избавился, то решал, что не даст ей денег и таким образом заставит вернуться. Он чувствовал себя одиноким и несчастным. Он тосковал по ней и по ребенку. Он понимал: как бы он ни обманывал себя, ему остается лишь одно — последовать за ней. Он не мог больше жить без нее. Все его планы на будущее рухнули, словно карточный домик, и он со злобным нетерпением отбросил их прочь. Ему не было дела до того, что станется с ним, его интересовало лишь одно — вернуть Этель. При первой же возможности он поехал в Абердин и заявил управляющему банком, что немедленно уходит со службы. Управляющий возмутился, сказал, что не может отпустить его так скоро. Лоусон не желал ничего слушать. Он решил во что бы то ни стало освободиться до отплытия следующего парохода и успокоился только тогда, когда продал все свое имущество и взошел на борт. До этой минуты все, кто сталкивался с ним, подозревали, что он не в своем уме. Перед тем как покинуть Англию, он послал на Самоа телеграмму, извещавшую Этель о том, что он выезжает к ней.

Вторую телеграмму Лоусон отправил из Сиднея, и, когда ранним утром пароход наконец подошел к Апии и он увидел белые домики, в беспорядке разбросанные по берегу, он почувствовал огромное облегчение. На борт поднялись врач и таможенный чиновник. Это были старые знакомые, и он рад был их видеть. Они выпили — по старой привычке и еще потому, что он страшно волновался. Он не был уверен, что Этель ему обрадуется. Он сел в шлюпку и, подъезжая к пристани, с беспокойством оглядывал кучку встречавших. Этель не было, и у него сжалось сердце. Однако вскоре он увидел старый синий комбинезон Бривальда и проникся теплым чувством к старику.

— Где Этель? — спросил он, спрыгнув на берег.

— В бунгало. Она теперь живет у нас.

Лоусон огорчился, но сделал веселое лицо.

— Вы сможете меня приютить? Пройдет, наверное, недели две, пока мы устроимся.

— Да, пожалуй, мы можем потесниться.

Пройдя через таможню, они зашли в гостиницу, и там Лоусона приветствовали его старые знакомые. Прежде чем удалось оттуда уйти, пришлось порядочно выпить и, когда они наконец выбрались из гостиницы и направились к дому Бривальда, оба были сильно навеселе. Лоусон заключил Этель в объятия. При виде ее он забыл все свои горькие мысли. Теща была рада его видеть, старуха — бабка Этель — тоже; пришли туземцы и метисы и уселись вокруг, глядя на него сияющими глазами. Бривальд принес бутылку виски, и все выпили по глотку. С Лоусона сняли европейскую одежду, и он сидел голый, держа на коленях своего темнокожего ребенка. Этель в широком платье сидела рядом. Он чувствовал себя, как возвратившийся блудный сын. Вечером он снова пошел в гостиницу и вернулся оттуда уже не навеселе, а совершенно пьяный. Этель и ее мать знали, что белые мужчины время от времени напиваются — от них следует этого ожидать. Добродушно посмеиваясь, они уложили его в постель.

Через несколько дней Лоусон начал искать работу. Он знал, что ему не приходится рассчитывать на место, подобное тому, какое он занимал до отъезда в Англию, но свой опыт он может применить в какой-нибудь торговой фирме и от этого, пожалуй, даже выиграет.

— В конце концов в банке капитала не наживешь, — сказал он. — Торговля — дело другое.

Он надеялся вскоре сделаться настолько незаменимым, что кто-нибудь возьмет его в компаньоны, и тогда ничто не помешает ему через несколько лет разбогатеть.

— Как только я устроюсь, мы найдем себе домик, — сказал он Этель. — Нельзя же все время жить здесь.

В тесном бунгало Бривальда все сидели друг на друге, и Лоусон никогда не мог остаться вдвоем с Этель. Везде толкались люди, и не было ни минуты покоя.

— Впрочем, поживем здесь, пока не найдем того, что надо. Торопиться некуда.

Через неделю он устроился в фирму некоего Бейна. Но когда он заговорил с Этель о переезде, она сказала, что хочет остаться на старом месте до родов. Она ждала второго ребенка. Лоусон попытался ее уговорить.

— Если тебе здесь не нравится, живи в гостинице, — заявила она.

Он внезапно побледнел.

— Этель, как ты можешь предлагать мне это?

Она пожала плечами.

— Зачем нам свой дом, когда можно жить здесь?

Он уступил.

Теперь, когда Лоусон возвращался после работы в бунгало, там было полно туземцев. Они курили, пили каву, спали или без умолку болтали. В доме было грязно и не прибрано. Его сын ползал по комнатам, играл с туземными детьми и слышал одну только самоанскую речь. У Лоусона вошло в привычку по дороге домой заходить в гостиницу и пропускать пару коктейлей, ибо, не подкрепившись спиртным, он не находил в себе сил провести долгий вечер в обществе добродушных туземцев. И все время — несмотря на то, что он любил Этель более страстно, чем когда-либо, — он чувствовал, что она ускользает от него. Когда родился ребенок, он предложил Этель переехать в свой дом, но она отказалась. После пребывания в Шотландии она с какой-то неистовой страстью привязалась к своему народу и самозабвенно предалась туземным обычаям. Лоусон стал пить еще больше. Каждую субботу он ходил в Английский клуб и напивался до потери сознания.

В пьяном виде он становился сварливым и однажды крупно повздорил со своим хозяином. Бейн выгнал его, и ему пришлось искать себе другое место. Недели две или три он не работал и, чтобы не оставаться дома, сидел в гостинице или в Английском клубе и пил. Миллер, американец немецкого происхождения, взял его к себе в контору из чистой жалости. Однако он был человек практичный и, несмотря на то, что Лоусон обладал большим опытом в финансовом деле, без всяких колебаний предложил ему более низкое жалованье, чем тот получал на прежнем месте, зная, что обстоятельства заставят Лоусона согласиться. Этель и Бривальд ругали его за это, потому что Педерсен, метис, предлагал ему больше. Но Лоусон и слышать не хотел о том, чтобы подчиняться метису. Когда Этель начала ворчать, он в ярости выпалил:

— Я скорее сдохну, чем стану работать на черномазого.

— Не зарекайся, — отвечала она.

И через полгода он вынужден был пойти на это последнее унижение. Страсть к спиртному постепенно брала над ним верх, он часто напивался и небрежно исполнял свои обязанности. Миллер не раз предупреждал его, но Лоусон был не такой человек, чтобы спокойно выслушивать замечания. В один прекрасный день в разгар перебранки он надел шляпу и ушел. К этому времени его репутация была уже всем известна, и никто не хотел нанимать его на службу.

Некоторое время он слонялся без дела, а потом его свалил приступ белой горячки. Придя в себя, пристыженный и больной, он не мог больше противостоять беспрерывному нажиму и отправился просить места у Педерсена. Педерсен был рад иметь в своей конторе европейца, к тому же познания в бухгалтерии делали Лоусона очень полезным работником.

С этого времени Лоусон быстро покатился по наклонной плоскости. Европейцы обращались с ним подчеркнуто холодно. Окончательно прекратить с ним всякое знакомство им мешала только презрительная жалость, да еще страх перед его пьяным гневом. Он стал страшно обидчив и то и дело воображал, будто его хотят оскорбить.

Лоусон жил теперь постоянно среди туземцев и метисов, но уже не пользовался престижем европейца. Туземцы чувствовали его отвращение к ним, и их злило, что он все время подчеркивает свое превосходство. Теперь он ничем не отличался от них, и они никак не могли понять, чего ради он чванится. Бривальд, прежде услужливый и подобострастный, теперь всячески выказывал ему свое презрение: Этель прогадала. Начались безобразные сцены, и несколько раз дело доходило до драки. Когда завязывалась ссора, Этель становилась на сторону своих родных. Они предпочитали, чтобы Лоусон напивался: пьяный он лежал на кровати или на полу и спал тяжелым сном.

Вскоре он почувствовал, что от него что-то скрывают.

Когда он возвращался в бунгало, чтобы съесть жалкий ужин, наполовину состоявший из туземных блюд, Этель часто не бывало дома. Если он спрашивал о ней, Бривальд отвечал, что она ушла в гости к подруге. Однажды он пошел за нею в тот дом, куда, по словам Бривальда, она отправилась, но ее там не оказалось. Когда Этель вернулась, Лоусон спросил, где она была, и она ответила, что отец ошибся — она ходила к другой подруге. Но Лоусон знал, что она говорит неправду. В нарядном платье, с сияющими глазами, она была очень хороша.

— Ты, моя милая, эти штучки брось, а не то я тебе все косточки переломаю, — сказал он.

— Пьяная скотина, — с презрением отвечала Этель.

Ему показалось, что миссис Бривальд и старуха бабка бросают на него хитрые взгляды, а необычное дружелюбие Бривальда он объяснял тем, что тесть радуется случаю над ним посмеяться. Подозрительность его все росла, и он вообразил, будто европейцы с любопытством на него поглядывают. Когда он появлялся в холле гостиницы, внезапное молчание, воцарявшееся в обществе, убеждало его в том, что он был предметом разговора. Что-то происходит, и об этом знают все, кроме него. Лоусона охватила бешеная ревность. Он решил, что у Этель роман с кем-то из европейцев, и принялся внимательно изучать одного за другим, но не обнаружил ничего, что могло бы дать хоть какую-нибудь нить. Он был совершенно беспомощен. Не зная, кого подозревать, он с маниакальным упорством искал, на ком бы выместить свою ярость. Однажды вечером, когда он одиноко сидел в холле гостиницы, к нему подсел Чаплин. Чаплин был, пожалуй, единственным человеком на всем острове, кто питал к нему симпатию. Они заказали вина и некоторое время болтали о предстоящих скачках. Потом Чаплин сказал:

— Придется раскошеливаться на новые наряды.

Лоусон усмехнулся. Миссис Чаплин сама распоряжалась деньгами, и потому, если ей вздумается по случаю этого события сшить себе новое платье, она вряд ли станет просить денег у мужа.

— Как ваша хозяюшка? — любезно спросил Чаплин.

— А вам-то что? — сказал Лоусон, нахмурив свои черные брови.

— Я просто из вежливости спросил.

— Оставьте свою вежливость при себе.

Чаплин был не слишком сдержан. Долгое пребывание в тропиках, общение с бутылкой и собственные семейные дела сделали его не менее вспыльчивым, чем Лоусон.

— Послушайте, любезный, когда вы находитесь в моей гостинице, извольте вести себя как подобает порядочному человеку, а не то и оглянуться не успеете, как я вышвырну вас на улицу.

Мрачное лицо Лоусона потемнело и залилось краской.

— Говорю вам раз и навсегда, и можете передать всем своим приятелям, — проговорил он, задыхаясь от ярости. — Если кто-нибудь из вас посмеет приставать к моей жене, пускай пеняет на себя.

— Кто это, по-вашему, собирается приставать к вашей жене?

— Я не так глуп, как вы воображаете. Я не хуже других разбираюсь, что к чему, и просто хочу вас предупредить, вот и все. Я никаких фокусов не допущу, так и знайте.

— Убирайтесь-ка вы отсюда и не возвращайтесь, покуда не протрезвитесь.

— Я уберусь, когда захочу, и ни на минуту раньше, — отвечал Лоусон.

Хвастал он совершенно зря, ибо Чаплин за то время, что он был хозяином гостиницы, приобрел незаурядный навык в обращении с господами, отсутствие которых он предпочитал их обществу. Едва Лоусон произнес эти слова, как Чаплин схватил его за шиворот и вытолкал из холла. Спотыкаясь по ступенькам, он вылетел на залитую ослепительным солнечным светом улицу.

Именно после этого случая и произошла первая безобразная сцена с Этель. Глубоко униженный, Лоусон не хотел возвращаться в гостиницу и в этот вечер пришел домой раньше обыкновенного. Этель собиралась уходить. Обычно она лежала на кровати босая, в широком белом платье, с цветком в черных волосах; теперь же, стоя перед зеркалом в белых шелковых чулках и в туфлях на высоких каблуках, она надевала новое платье из розовой кисеи.

— У тебя очень шикарный вид, — сказал он. — Ты куда?

— К Кросли.

— Я пойду с тобой.

— Зачем? — холодно спросила она.

— Не хочу, чтоб ты вечно шаталась одна.

— Тебя не приглашали.

— Наплевать. Ты без меня никуда не пойдешь.

— Ладно, полежи, пока я оденусь.

Она думала, что муж пьян, и стоит ему лечь, как он сразу же уснет. Но он уселся в кресло и закурил. Этель следила за ним с растущим раздражением. Когда она кончила одеваться, он встал. Против обыкновения, в бунгало никого не было. Бривальд работал на плантации, а его жена ушла в Апию. Этель посмотрела Лоусону в лицо.

— Никуда я с тобой не пойду. Ты пьян.

— Неправда. Ты без меня не уйдешь.

Она пожала плечами и хотела пройти, но он схватил ее за руку.

— Пусти, дьявол, — сказала она по-самоански.

— Почему ты хочешь уйти без меня? Ведь я сказал тебе, что не потерплю никаких фокусов.

Она ударила его кулаком по лицу. Лоусон потерял всякую власть над собой. Вся его любовь, вся ненависть волной поднялись в нем, он был вне себя.

— Я тебе покажу! — кричал он. — Я тебе покажу! Он схватил попавшийся под руку хлыст и ударил Этель. Она вскрикнула. Ее крик довел его до такого безумия, что он ударил ее еще и еще раз. Бунгало наполнилось воплями. Лоусон продолжал избивать жену, осыпая ее проклятьями. Потом он бросил ее на кровать. Она лежала, всхлипывая от боли и страха. Он отшвырнул хлыст и выбежал из комнаты. Услышав, что он ушел, Этель перестала плакать. Она осторожно огляделась и поднялась с постели. Ей было даже не очень больно, и она стала смотреть, не разорвалось ли платье. Туземные женщины привыкли к побоям. Поступок Лоусона нисколько не возмутил Этель. Когда она смотрела на себя в зеркало и приводила в порядок прическу, глаза ее сияли. В них появилось какое-то странное выражение. Быть может, именно в эту минуту она впервые испытала к нему нечто вроде любви.

Тем временем Лоусон, точно безумный, не разбирая дороги, спотыкаясь, брел по плантации. Внезапно обессилев, слабый, как ребенок, он бросился на землю у подножия высокого дерева. Он чувствовал себя опозоренным и несчастным. Он подумал об Этель, и нежная любовь к ней, казалось, размягчила в нем все кости. Лоусон вспомнил прошлое, вспомнил свои надежды и ужаснулся тому, что сделал. Он никогда еще не желал ее так страстно. Он хотел обнять ее. Он должен немедленно пойти к ней. Он встал и, шатаясь от слабости, пошел в дом. Этель сидела перед зеркалом в их тесной спальне.

— Прости меня, Этель. Мне так стыдно. Я сам не знал, что делаю.

Он упал перед нею на колени и стал робко гладить подол ее платья.

— Мне страшно подумать, что я наделал. Это отвратительно. Я, наверное, лишился рассудка. Я люблю тебя больше всего на свете. Я готов все сделать, чтобы избавить тебя от страданий, а теперь я причинил тебе такую боль. Я никогда не прощу себе этого, но ради бога скажи, что ты меня простила.

Он все еще слышал ее крики. Это было невыносимо. Этель молча смотрела на него. Он попытался взять ее за руку, и из его глаз полились слезы. Он униженно уткнулся лицом в ее колени, его слабое тело содрогалось от рыданий. На лице Этель выразилось глубочайшее отвращение. Как всякая туземка, она презирала мужчину, способного унижаться перед женщиной. Слабая тварь! А она чуть не подумала, будто в нем все-таки что-то есть. Он ползает перед ней, как собачонка. Этель с презрением толкнула его ногой.

— Убирайся, — сказала она. — Я тебя ненавижу.

Он старался удержать ее, но она оттолкнула его, встала и начала снимать платье. Она сбросила туфли, сняла чулки и накинула старый балахон.

— Куда ты идешь?

— А тебе какое дело? Я иду к заводи.

— Позволь мне пойти с тобой.

Он клянчил, как маленький ребенок.

— Неужели ты хочешь лишить меня даже этого?

Горько плача, Лоусон закрыл лицо руками, а Этель поглядела на него холодным взором и вышла из дому.

С этого дня она не выказывала к нему ничего, кроме презрения. Несмотря на то, что он, Этель с двумя детьми, Бривальд, его жена и ее мать, а также какие-то дальние родственники и прихлебатели, вечно толкавшиеся в доме, жили буквально на головах друг у друга, Лоусона, с которым теперь никто не считался, просто не замечали. Он уходил из дому утром после завтрака и возвращался только ужинать. Он перестал бороться и, когда у него не было денег, чтобы пойти в Английский клуб, проводил вечер дома, играя в карты с Бривальдом и туземцами. Если он не напивался, то бывал запуган и апатичен. Этель обращалась с ним, как с собакой. Порою она покорялась вспышкам его бешеной страсти и очень боялась приступов злобы, которые за ними следовали; но когда он начинал униженно перед нею извиняться и хныкать, она испытывала к нему такое презрение, что готова была плюнуть ему в лицо. Иногда Лоусон затевал драку, но теперь Этель была готова к отпору и, когда он бил ее, пинала его ногами, кусалась и царапалась. Между ними происходили страшные потасовки, из которых он не всегда выходил победителем. Очень скоро всей Апии стало известно, что они на ножах. Лоусону никто не сочувствовал, а в гостинице все удивлялись, почему Бривальд до сих пор не выгнал его из дому.

— Бривальд — довольно гнусный тип, — сказал кто-то. — Я нисколько не удивлюсь, если он в один прекрасный день пристрелит Лоусона.

Вечерами Этель все еще ходила купаться в тихой заводи. Казалось, ее притягивает туда какая-то неземная сила — нечто подобное могла бы испытывать к соленым морским волнам русалка, наделенная человеческой душой. Иногда Лоусон следовал за ней. Не знаю, что влекло его туда, потому что его присутствие явно раздражало Этель. Быть может, он надеялся вновь обрести тот чистый восторг, которым наполнилось его сердце, когда он увидел ее в первый раз; а быть может, с безумием безнадежно влюбленного он рассчитывал своим упорством разбудить в ней ответное чувство. Однажды Лоусон пришел к заводи и внезапно — теперь это случалось с ним редко — почувствовал себя в ладу со всем миром. Спускался вечер, и сумерки, словно прозрачное облачко, прильнули к листьям кокосовых пальм. Легкий ветерок бесшумно шевелил их кроны. Над вершинами деревьев повис узкий серп луны. Лоусон подошел к берегу и увидел, что Этель с распущенными волосами плывет на спине, а в руках у нее большая красная мальва. Он на мгновение остановился, восхищенный. Она напомнила ему Офелию.

— Хэлло, Этель! — весело крикнул Лоусон. Этель вздрогнула и упустила цветок. Он лениво поплыл прочь. Она нащупала ногами дно и встала.

— Уходи, — сказала она. — Уходи.

Он засмеялся.

— Не будь эгоисткой. Здесь хватит места на двоих.

— Почему ты не можешь оставить меня в покое? Я хочу побыть одна.

— К черту все это, я хочу выкупаться, — добродушно отвечал он.

— Ступай к мосту. Мне и без тебя хорошо.

— Очень жаль, — сказал он, все еще улыбаясь. Он ничуть не сердился, он даже не заметил, что она в ярости, и принялся снимать куртку.

— Уходи! — крикнула она. — Не хочу я, чтобы ты был здесь. Неужели ты и этого не можешь мне оставить? Уходи.

— Не дури, детка.

Этель нагнулась, подняла с земли острый камень и запустила в мужа. Лоусон не успел увернуться, и камень попал ему в висок. Он вскрикнул и приложил руку к голове. Рука стала мокрой от крови. Этель молчала, задыхаясь от злобы. Лоусон побледнел. Он молча взял свою куртку и ушел. Этель снова опустилась в воду, и течение медленно понесло ее к запруде.

От камня на виске у Лоусона образовалась рваная рана, и несколько дней он ходил с забинтованной головой. На случай, если в клубе спросят, что с ним такое, он придумал целую историю, но ему не пришлось ее рассказывать — никто и словом не обмолвился о происшествии. Он замечал, что на него украдкой бросают взгляды, но никто ничего не говорил.

Молчание могло означать только одно — им известно, откуда у него рана. Теперь Лоусон окончательно убедился, что у Этель есть любовник и что все про это знают, но не мог напасть на след. Он ни разу ни с кем не видел Этель, никто не искал ее общества, никто не обращался с ним так, чтобы это могло вызвать у него подозрение. Лоусона охватила неистовая ярость, но излить ее было не на кого, и потому он стал пить еще больше. Незадолго до моего приезда на остров у него был второй приступ белой горячки.

Я встретил Этель в доме человека по имени Кастер — он жил в двух или трех милях от Апии с женой-туземкой. Я играл с ним в теннис, и, когда мы оба устали, он предложил выпить чаю. Войдя в дом, мы увидели в неприбранной гостиной Этель: она сидела и болтала с миссис Кастер.

— Хэлло, Этель, — сказал Кастер. — Я и не знал, что вы здесь.

Я с любопытством посмотрел на Этель. Я пытался понять, что могло возбудить в Лоусоне такую испепеляющую страсть. Но разве это можно объяснить? Этель и правда была прелестна, она напоминала цветок мальвы, которую на островах сажают в виде живой изгороди. Как и в мальве, в ней было много грации, томности и страсти, но больше всего удивили меня — принимая во внимание всю историю, о которой мне уже тогда было многое известно, — ее свежесть и простота. Она держалась спокойно и слегка застенчиво. В ней не было ничего грубого и вульгарного, она не отличалась экспансивностью, свойственной женщинам смешанной крови, и просто не верилось, что это сварливая баба, участница безобразных семейных сцен, о которых теперь уже все знали. В красивом розовом платье и туфлях на высоких каблуках Этель выглядела совсем по-европейски. Трудно было представить себе, что за этой внешностью скрывается пристрастие к неприглядному образу жизни туземцев. В ней не было и намека на интеллект, и я ничуть не удивился бы, узнав, что человек, проживший с ней некоторое время, в один прекрасный день почувствовал, как страсть, которая влекла его к ней, сменяется скукой. Мне пришло в голову, что она неуловима — словно мысль, которая мелькает в мозгу и тут же исчезает, не успев облечься в слова, и что именно в этом и состоит ее обаяние; но, быть может, то была всего лишь игра воображения, и, если бы я ничего про нее не знал, я увидел бы в ней просто хорошенькую метиску, и ничего больше.

Этель болтала со мною о том, о чем обычно говорят с иностранцами на Самоа: спрашивала, как прошло путешествие, спускался ли я по порогам Папасиа и собираюсь ли побывать в туземной деревне. Она рассказывала о Шотландии, и мне показалось, будто она склонна преувеличивать роскошь своей тамошней жизни. Она наивно интересовалась, не знаю ли я миссис такую-то и такую-то, с которыми она была знакома, когда жила на севере.

Потом появился толстяк Миллер, американец немецкого происхождения. Он дружески пожал всем руки, уселся за стол и громким, веселым голосом попросил виски с содовой. Он был очень толст и все время обливался потом. Он снял золотые очки, протер их, и тут стало видно, что его глазки, казавшиеся такими благодушными под большими круглыми стеклами, на самом деле хитры и проницательны. До прихода Миллера было скучновато, но он оказался веселым малым и хорошим рассказчиком. Вскоре обе женщины — Этель и жена моего приятеля — до слез смеялись его остротам. Миллер слыл на острове дамским угодником, и я убедился, что этот толстый, грубый старый урод все еще может нравиться женщинам. Юмор его был на том же уровне, что и мыслительные способности слушателей, все дело заключалось в живости и самоуверенности, а акцент уроженца американского Запада придавал особый колорит его рассказам.

Наконец Миллер обратился ко мне:

— Однако, если мы хотим попасть к обеду, нам пора ехать. Если желаете, я подвезу вас на своей машине.

Я поблагодарил и встал. Пожав всем руки, Миллер вышел из комнаты тяжелой походкой сильного человека и уселся в свой автомобиль.

— Хорошенькая девочка жена Лоусона, — заметил я по дороге.

— Он скверно обращается с ней. Бьет. Не могу спокойно слышать, что мужчина бьет женщину.

Проехав еще немного, Миллер сказал:

— Он глупо сделал, что женился на ней. Я и тогда это говорил. Если б он на ней не женился, он бы делал с ней что хотел. Он ничтожество, просто ничтожество.

Был конец года, приближался день моего отъезда с острова. Мой пароход отходил в Сидней 4 января. Рождество в гостинице отпраздновали с приличествующими случаю церемониями, но оно считалось всего лишь репетицией к Новому году, а уж Новый год завсегдатаи гостиницы решили отметить как полагается. Был устроен шумный обед, после чего компания отправилась играть на бильярде в Английский клуб, помещавшийся в простом деревянном домике. Гости много болтали, смеялись, без конца бились об заклад, но играли все очень плохо, за исключением Миллера. Он выпил не меньше остальных и, несмотря на то, что все были моложе его, единственный из всей компании сохранил верный глаз и твердую руку. Любезно подшучивая над молодыми людьми, он клал себе в карман их деньги. Через час мне это надоело. Я вышел на улицу, пересек дорогу и отправился на пляж. Там росли три кокосовые пальмы. Как три лунные девы, стояли они на берегу, ожидая, когда из волн морских выйдут их возлюбленные. Я сел у подножия пальмы и стал смотреть на лагуну и на звездное ночное небо.

Не знаю, где Лоусон провел весь вечер, но только между десятью и одиннадцатью он явился в клуб. Скучный и унылый, тащился он по пыльной пустынной дороге, а добравшись до клуба, решил зайти в бар и, прежде чем идти в бильярдную, выпить в одиночестве рюмку виски. Последнее время он робел в обществе европейцев, и для храбрости ему необходимо было напиться. Когда он стоял со стаканом в руке, к нему подошел Миллер. Миллер был без пиджака и все еще держал в руке кий. Он подмигнул буфетчику.

— Выйди на минутку, Джек, — сказал он.

Туземец-буфетчик, одетый в белую куртку и красные лава-лава, молча выскользнул из маленькой комнаты.

— Послушайте, Лоусон, я хочу сказать вам пару слов, — произнес огромный американец.

— Ну что ж, на нашем проклятом острове хоть это можно сделать бесплатно.

Миллер поправил на носу очки и холодным решительным взглядом уставился на Лоусона.

— Послушайте, молодой человек. Говорят, вы снова били миссис Лоусон. Я больше не намерен это допускать. Если вы теперь же не образумитесь, я вам все ваши грязные косточки переломаю.

Тут Лоусона осенило: наконец-то он нашел того, кого так долго искал. Это Миллер. Когда он представил себе этого старого лысого толстяка с круглой безволосой физиономией, с двойным подбородком, в золотых очках, с хитрым благодушным взором, словно у отступника-пастора, рядом с девически стройной Этель, его охватил ужас. Лоусон мог быть кем угодно, но трусом он не был. Вместо ответа он с яростью кинулся на Миллера. Миллер мгновенно отвел удар левой рукой, в которой держал кий, а потом изо всех сил размахнулся правой и ударил Лоусона кулаком по уху. Лоусон был на четыре дюйма ниже американца, он никогда не отличался крепким сложением и к тому же обессилел от болезни, расслабляющего тропического климата и от пьянства. Он упал и остался лежать возле буфетной стойки. Миллер снял очки и протер их носовым платком.

— Надеюсь, вам теперь ясно, чего следует ожидать. Я вас предупредил и советую вам зарубить это себе на носу.

Он поднял с пола кий и вернулся в бильярдную. Там стоял такой шум, что никто ничего не слышал. Лоусон встал, пощупал рукой ухо, в котором все еще гудело, и крадучись вышел из клуба.

Я увидел, что кто-то переходит улицу — во мраке ночи передо мною мелькнуло белое пятно, — но кто это, я не разобрал. Человек направился к пляжу, прошел мимо пальмы, под которой я сидел, и посмотрел на меня. Тогда я узнал Лоусона, но подумал, что он наверняка пьян, и промолчал. Лоусон двинулся дальше, нерешительно прошел еще несколько шагов и повернул назад. Подойдя ко мне, он наклонился и заглянул мне в лицо.

— Я так и знал, что это вы, — сказал он. Он сел и вынул из кармана трубку.

— В клубе очень жарко и душно, — заметил я. — Почему вы здесь сидите?

— Жду, когда начнется ночная служба в соборе.

— Если хотите, я пойду с вами.

Лоусон был совершенно трезв. Некоторое время мы молча курили. Иногда с залива доносился всплеск какой-нибудь большой рыбы, а немного поодаль возле прохода в рифе виден был огонь шхуны.

— Вы на той неделе уезжаете? — спросил Лоусон.

— Да.

— Хорошо бы снова вернуться домой. Но мне теперь этого не выдержать. Там слишком холодно.

— Трудно представить себе, что в Англии сейчас люди дрожат от холода, сидя у камина.

Было совсем тихо. Напоенная ароматом волшебная ночь застыла над лагуной. На мне была лишь тонкая рубашка и полотняные брюки. Наслаждаясь прелестью ночи, я лениво растянулся на песке.

— В такую новогоднюю ночь что-то не тянет принимать важные решения на будущее, — промолвил я с улыбкой.

Лоусон ничего не ответил. Не знаю, какие мысли разбудило в нем мое случайное замечание, но только вскоре он заговорил. Говорил он тихо, без всякого выражения, но речь его была правильной, и после гнусавого выговора и вульгарных интонаций, которые в последнее время оскорбляли мне ухо, слушать его было приятно.

— Я попал в скверную историю. Это ясно как день. Я лежу на самом дне пропасти, и мне оттуда не выбраться. «Как в адской мгле, в земном краю...» — Я почувствовал, что он улыбнулся, произнося эту цитату. — И ведь вот что удивительно: я никак не пойму, с чего все началось.

Я затаил дыхание: никогда я не испытываю большего благоговения, чем в те минуты, когда передо мною раскрывают душу. Тогда становится совершенно ясно, что до какого бы ничтожества и унижения ни дошел человек, в нем всегда остается нечто, вызывающее сострадание.

— Я не чувствовал бы себя так скверно, если бы видел, что во всем виноват только я один. Я пью, это правда, но я не стал бы пить, если бы все было иначе. Я никогда не питал пристрастия к спиртному. Наверное, мне не надо было жениться на Этель. Если бы я просто жил с ней, все было бы в порядке. Но я так любил ее... — Голос его сорвался. — Она неплохая женщина, нет. Мне просто не повезло. Мы могли бы быть счастливы, как боги. Когда она сбежала, мне надо было оставить ее в покое, но я не мог — я был без памяти влюблен в нее тогда. Да еще ребенок...

— Вы любите сына? — спросил я.

— Любил. Их теперь двое, как вам известно. Но теперь я уже не люблю их так, как прежде. Их легко можно принять за туземцев. Мне приходится разговаривать с ними по-самоански.

— Разве вы не можете начать жизнь сначала? Возьмите себя в руки и уезжайте отсюда.

— У меня нет сил. Я никуда не гожусь.

— Вы все еще любите свою жену?

— Теперь уже нет. Теперь уже нет. — Он повторил эти слова с каким-то ужасом. — У меня и этого теперь не осталось. Я человек конченый.

В соборе зазвонили колокола.

— Если вы в самом деле хотите пойти на новогоднюю службу, нам пора, — сказал я.

— Пойдемте.

Мы встали и пошли по дороге. Белый собор, обращенный фасадом к морю, имел внушительный вид, и рядом с ним протестантские часовни казались жалкими молельнями. Перед собором стояло несколько автомобилей и множество повозок, некоторые повозки выстроились вдоль стен. Люди приехали в церковь со всех концов острова, и сквозь открытые большие двери видно было, что собор переполнен. Алтарь сиял огнями. В соборе было несколько европейцев, много метисов, но большинство составляли туземцы. Все мужчины были в брюках: церковь решила, что носить лава-лава неприлично. В задних рядах возле дверей мы нашли свободные стулья и сели. Вскоре, следуя за взглядом Лоусона, я увидел, что в собор вошла Этель с большой компанией метисов. Все были очень нарядно одеты — мужчины в рубашках с высокими накрахмаленными воротничками и в начищенных башмаках, женщины в ярких шляпах. Пробираясь по проходу, Этель кивала и улыбалась знакомым. Началась служба.

Когда служба кончилась, мы с Лоусоном немного постояли в сторонке, глядя, как толпа выходит из церкви; потом он протянул мне руку.

— Спокойной ночи, — сказал он. — Желаю вам приятного путешествия.

— Но ведь мы еще увидимся до моего отъезда. — Он усмехнулся.

— Весь вопрос в том, буду ли я трезв.

Он повернулся и пошел прочь. У меня остались в памяти его огромные черные глаза — они горели диким огнем под косматыми бровями. С минуту я постоял в раздумье. Спать мне не хотелось, и я решил перед сном зайти на часок в клуб. В бильярдной уже никого не было; несколько человек играли в покер за столом в холле. Когда я вошел, Миллер поднял на меня глаза.

— Садитесь, сыграем.

— Ладно.

Я купил фишек и начал играть. Покер, безусловно, самая увлекательная игра в мире, и вместо часа я просидел за столом добрых три. Туземец-буфетчик, веселый и бодрый, несмотря на поздний час, подавал нам вино, а потом достал откуда-то окорок и большой каравай хлеба. Мы продолжали играть. Мои партнеры выпили гораздо больше, чем следовало, и безрассудно делали слишком большие ставки. Я играл скромно, не заботясь о выигрыше и не боясь проиграть, и с возрастающим интересом следил за Миллером. Вместе со всеми он пил стакан за стаканом, но при этом оставался совершенно спокойным и хладнокровным. Кучка фишек возле него все росла и росла; перед ним лежал аккуратный листок бумаги, куда он записывал суммы, которые давал взаймы неудачливым игрокам. Он любезно улыбался молодым людям, у которых отбирал деньги. Поток его шуток и анекдотов не иссякал ни на минуту, но он не пропустил ни одного прикупа, и ни один оттенок выражения на лицах игроков не ускользнул от ого внимания. Наконец тихонько и робко, словно извиняясь за непрошеное вторжение, в окна вполз рассвет. Наступило утро.

— Что ж, — произнес Миллер, — по-моему, мы встретили Новый год как полагается, по всей форме. Теперь остается хлопнуть еще по одной, а потом я забираюсь под свою москитную сетку. Не забывайте, мне уже пятьдесят, я не могу ложиться так поздно.

Мы вышли на веранду. Утро было прекрасное и свежее, лагуна блестела, как кусок разноцветного стекла. Кто-то предложил выкупаться перед сном, но купаться в лагуне никому не хотелось. Дно в ней вязкое и предательское. Автомобиль Миллера стоял у дверей, и он сказал, что отвезет нас к заводи. Мы забрались в машину и покатили по пустынной дороге. Когда мы подъехали к заводи, там, казалось, только начало рассветать. На воде лежали густые тени, и под деревьями еще таилась ночь. Мы были в отличном расположении духа. Никто не взял с собой ни купальных костюмов, ни полотенец, и я, со свойственным мне благоразумием, стал думать о том, чем мы будем вытираться. Все были легко одеты, и потому раздевание не заняло много времени.

— Я ныряю, — объявил Нельсон, судовой приказчик.

Он нырнул, вслед за ним нырнул еще кто-то, но, не добравшись до дна, тотчас всплыл на поверхность. Вскоре из воды появился Нельсон.

— Эй, помогите мне вылезть! — крикнул он, карабкаясь на скалы.

— Что случилось?

С Нельсоном и в самом деле что-то произошло. Лицо его перекосилось от ужаса. Товарищи протянули ему руки, и он выбрался на берег.

— Там внизу кто-то стоит.

— Не валяй дурака. Ты просто пьян.

— Ну, значит, у меня белая горячка. Да только говорю вам, что там стоит человек. Я чуть не умер со страху.

Миллер с минуту смотрел на него. Маленький приказчик был бледен и дрожал всем телом.

— Пошли, Кастер, — обратился Миллер к высокому австралийцу. — Надо посмотреть, что там такое.

— Он там стоит, — повторил Нельсон. — Одетый. Он хотел меня схватить.

— Да замолчите же, — сказал Миллер. — Вы готовы?

Оба нырнули. Мы молча ждали на берегу. Нам показалось, что они пробыли под водой гораздо дольше, чем может выдержать человек. Наконец показался Кастер, а за ним Миллер. Лицо у него было такое красное, точно его вот-вот хватит удар. Они тащили что-то за собой. Кто-то спрыгнул в воду, чтобы им помочь; втроем они подтянули свою ношу к уступу и подняли на берег. И тут мы все увидели, что это Лоусон. К ногам его был привязан большой камень, завернутый в куртку.

— Он действовал наверняка, — произнес Миллер, вытирая свои близорукие глаза.